



Marion Poschmann

The Pine Islands

Novel

(Original German title: Die Kieferninseln. Roman)

168 pages, Clothbound

Publication date: 11 September 2017

© Suhrkamp Verlag Berlin 2017

Sample translation by Tatiana Baskakova

Хочешь что-то узнать о соснах –
ступай к соснам. *Мацуо Басё*

Токио

Ему приснилось, что жена его обманывает. Гильберт Сильвестер проснулся, не понимая, где он. Черные волосы Матильды разметались рядом с ним по подушке, словно щупальца зловредной, окунувшейся в деготь медузы. Густые пряди слегка шевелились, в такт ее дыханию, подползали к нему... Он тихо поднялся и прошел в ванную, там застыл у зеркала, растерянно рассматривая себя. Не позавтракав, покинул он дом. И когда вечером вернулся из бюро, все еще чувствовал себя так, будто его стукнули по голове, оглушили. Сон на протяжении дня не улетучился и даже не потускнел в такой мере, чтобы к нему можно было приложить дурацкую поговорку: «Сон ли, мечта ли пустая – оба как пена морская». Наоборот, ночные впечатления непрерывно набирали силу, убедительность. Несомненное предостережение со стороны Бессознательного – ему, наивному, доверчивому «Я».

Он ступил в коридор, театрально швырнул портфель на пол и призвал жену к ответу. Она всё отрицала. Но это лишь доказывает, что подозрение его обоснованно. Матильда показалась ему не такой, как прежде. Неестественно резкой. Возбужденной. Смущенной. Она была недовольна, что утром он ушел из дому украдкой, не попрощавшись. «Заставил. Меня. Беспокоиться. Как. Ты. Мог.» Бесконечные упреки. Сомнительный отвлекающий маневр. Будто вина внезапно перекинулась на него. Жена переборщила. Такое он не позволит с собой проделывать.

Позже он уже не помнил, накричал ли на нее (вероятно), ударил ли (не исключено), или просто оплевал (допустим): такое могло быть – что, пока он взволнованно говорил, слюна выбрызгивалась у него изо рта; во всяком случае, он похватал самые необходимые вещи, включая кредитные карточки и паспорт, и был таков: продефелировал мимо их дома, по тротуару, а поскольку она не выбежала за ним и даже не позвонила, он так и продолжал шагать – поначалу медленно, а потом всё быстрее – до ближайшей станции У-бана. В

подземке он и исчез: сомнамбулически – как можно сказать, оглядываясь назад, – проехал через весь город и вышел только возле аэропорта.

Ночь он провел в Терминале Б, неудобно устроившись на металлических минималистских стульях. Снова и снова проверял свой смартфон. Но сообщений от Матильды не было. Его самолет вылетал на следующее утро: самый ранний межконтинентальный рейс, на который удалось, в последний момент, купить билет.

В самолете компании *Airbus*, по пути в Токио, он пил зеленый чай, посмотрел два самурайских фильма – на экране, прикрепленном к спинке находящегося перед ним кресла, – и убеждал себя, снова и снова, что не только поступил правильно, но что его действия были неизбежными, что они и теперь остаются неизбежными и останутся таковыми впредь, как по его персональному мнению, так и по мнению всех других.

Он отступил. Не стал настаивать на своих правах. Освободил дорогу. Для кого бы там ни было. Для брюзгливого мачо, ее шефа, ректора школы. Для смазливой юнца-стажера, едва достигшего совершеннолетия, которого она будто бы опекает. Или – для одной из ее прилипчивых сослуживиц. Тягаться с женщиной он не может. Если бы речь шла о мужчине, время, пожалуй, сыграло бы ему на руку. Он бы подождал, как станут развиваться события, набрался терпения, пока она не образумится. Ведь напрашивается мысль, что очарование запретного рано или поздно рассеется. Но против женщины он бессилён. К сожалению, в этом единственном пункте сновидение было не исчерпывающе ясным. Хотя в целом – все же достаточно ясным. Более чем. Как если бы он что-то такое и раньше подозревал. А он, по сути, в самом деле подозревал. Уже давно. Разве не было у нее в последние недели нарочито хорошее настроение? Прямо-таки радостное? И разве она не проявляла по отношению к нему подчеркнутое дружелюбие? Дипломатичное дружелюбие, которое день ото дня становилось всё невыносимей – становилось *бы* всё невыносимее, догадайся он раньше, что за ним кроется. А так... – так жене долго удавалось его укачивать, навевая ему ощущение спокойной уверенности. Он же, он позволял себя убаюкивать, что оказалось явным промахом с его стороны. Он не был в достаточной мере настороже, он допускал, чтобы его обманывали, поскольку его недоверчивость все же не безгранична.

Японская стюардесса, чьи длинные черные волосы были собраны на затылке в «пучок гейши», с обворожительной улыбкой подлила ему чаю. Разумеется, предназначалась эта улыбка не ему персонально, но он почувствовал, что откликается на нее всем телом, как если бы на него вдруг выплеснули ведро бальзама. Он прихлебывал чай и наблюдал, как стюардесса идет по проходу, сохраняя эту улыбку, и как дарит ее, не меняя, каждому из пассажиров – обаяние, которое сродни обольстительности застылой маски, но, тем не менее, с потрясающей эффективностью выполняет свою задачу.

Он всегда боялся, что слишком скучен для Матильды. Чисто внешне их отношения казались безоблачными. Но в долгосрочной перспективе он не мог ей ничего предложить – ни шанса перемены социального статуса, ни гениальных идей, ни глубины характера.

Он был неприметным ученым, приват-доцентом. Должность профессора так и не получил, поскольку не имел надлежащего семейного бэкграунда, не научился завязывать полезные знакомства, не привык угодничать и выслуживаться. Поскольку слишком поздно осознал, что в университетской среде о деле заботятся лишь во вторую или третью очередь, а в первую – об утверждении собственной власти внутри иерархической системы. В этой сфере он совершал ошибки, множество ошибок. Критиковал своего научного руководителя. Показывал, всегда в неподходящее время, что знает что-то лучше других. Потом, запуганный полученным отпором, вел себя слишком скромно именно в такие моменты, когда, наоборот, стоило похвастаться тем, на что он способен.

Пока под ним скользило плотное облачное покрывало, в его сознании мелькали прошедшие годы – гнетущая серая масса из унижений и неудач. В молодости он верил, что

наделен интеллектом выше среднего, что выделяется из множества заурядных, приспособляющихся к обстоятельствам карьеристов и способен с философской проницательностью рассматривать любые обстоятельства нашего мира. Теперь же находил, что опять оказался в сомнительной ситуации, просто как-то перебивается от одного доклада об очередном проекте до следующего, – и видел, что в профессиональном плане зависит от бывших друзей, которые прежде получали гораздо худшие, чем у него, оценки и никогда не высказывали собственных мыслей. От друзей, которые – нужно это сказать со всей ясностью – профессионально менее компетентны, чем он. Но они, в отличие от него, отличались той особой практической сметкой, которая одна только и приносит пользу в карьерном продвижении.

В то время как другие умели комфортно устроиться со своим домашним бытом, семьями и рутинными делами, он видел себя вынужденным выполнять идиотские и довольно плохо оплачиваемые работы, навязанные ему людьми, которых он в душе презирал. На протяжении многих лет он испытывал страх, что таким образом калечит себя и в конце концов не сможет больше сформулировать ни одной ясной мысли. Потом этот страх поутих, уступив место вездесущему равнодушию. Он теперь просто выполнял, что от него требовали, обращал свою проницательность на самые что ни на есть дурацкие задачи и даже мало-помалу научился – увы, на годы, даже на десятилетия позже, чем следовало, – производить такое впечатление, будто он со всем согласен, будто он не «против», а «за».

Приблизилась японская стюардесса – с корзиночкой, над которой поднимался пар. Длинными металлическими щипцами она протянула ему свернутое в рулон горячее махровое полотенце. Он механически вытер им руки, потом обмотал ткань вокруг запястья, чтобы колючий жар проник в его пульс; подлинное благодеяние – этот обычай, подумал он; странный самолет, здесь делается буквально всё, чтобы его успокоить; и он провел полотенцем по лбу – как материнское прикосновение, успокаивающее жар, удивительно приятно; но полотенце уже начало остывать, он приложил его к лицу, всего на две-три секунды, пока оно не превратилось во влажную холодную тряпку.

Последний проект сделал его специалистом по стрижке бород. Хотя и более чем сомнительное, такое начинание, как-никак, годами обеспечивало ему твердый доход. И со временем он даже научился находить удовольствие в этой неопишуемой теме, что соответствовало обычной практике: интерес к деталям растет по мере того, как человек все больше углубляется в охватывающую их целостную систему. Так, в автошколе он воодушевлялся правилами уличного движения, в школе танцев – последовательностями шагов: чтобы отождествить себя с каким-то делом, особого колдовства не требуется.

Гильберт Сильвестер – исследователь бород в рамках особого проекта, финансируемого кинопромышленностью земли Северный Рейн-Вестфалия, а также, в незначительной мере, – феминистической организацией в Дюссельдорфе и иудейской общиной города Кёльн.

Проект был посвящен исследованию воздействия, оказываемого на кинозрителей различными способами изображения бород в фильмах. Речь шла о каких-то аспектах культурологии и гендерной теории, о религиозной иконографии и проблемах, связанных с тем, возможно ли вообще транслировать философские идеи посредством изображений.

Речь, как всегда, шла об исследовательском проекте, результаты которого заранее твердо определены. Гильберт Сильвестер выполнял работу, требующую усидчивости: он собирал воедино детали, самым изобилием материала доказывая его значимость, он подтверждал всеобщую применимость выводов культурологической теории – и тем самым, в конечном счете, способствовал манипулированию кинозрителями во всем мире.

По утрам он отправлялся в библиотеку, выключал свой мобильный телефон и погружался в рассматривание картин итальянских мастеров, мозаик и средневековых книжных миниатюр. Изображения бород попадались в них повсеместно, и он давно задавал

себе вопрос, как это вообще могло произойти, что такие фундаментальные проблемы не привлекли к себе, уже давно, внимание исследователей. «Мода на бороды и образ Бога» – так сформулировал он суть своей темы, которая – в зависимости от того, как складывался день, – казалась ему то чрезвычайно многообещающей, даже вдохновляющей, то, наоборот, совершенно абсурдной и вгоняющей в глубокую депрессию.

Последним бастионом персонального сопротивления судьбе оставались для него некоторые ностальгические привычки, еще из школьных времен. Рукописные заметки – только выполненные авторучкой и чернилами, в больших тетрадях с черным прошитым переплетом. Годами – потемневший кожаный портфель, ни разу – нейлоновый рюкзак. В любой жизненной ситуации – рубашка и пиджак. Когда он был школьником, ему удавалось таким образом производить впечатление на окружающих и удерживать за собой статус впечатлительного интеллектуала. Теперь те же особенности воспринимались скорее как знаки жизненной неудачи. Он продолжал цепляться за давно устаревшие ценности и за реквизит из прошлых времен, его всегда окружала атмосфера, в которой чувствовалось что-то старомодное. Он, правда, пытался в качестве компенсации украшать себя постмодернистскими галстуками и кричаще-яркими платками-паше. Но это не помогало. В университете он приобрел репутацию эстета-реакционера. Ведь и сигаретный дым вызывал у него головную боль. И футболом он не интересовался, и мяса не ел.

Он еще раз протер ладони, потом расстелил белый махровый квадрат на откидном столике – пусть, дескать, так и лежит.

Внизу между тем облачное покрывало разорвалось и открылся вид на Сибирь. Могучая Обь с ее многочисленными притоками величественно змеилась через заболоченные пустоши и леса. На экране макет самолета толчком переместился от Томска по направлению к Красноярску и дальше к Иркутску.

Европейская часть России, Сибирь, Монголия, Китай, Япония – воздушная трасса, которая пролегает исключительно над чайными странами. Гильберт Сильвестер до сих пор категорически отвергал все страны, где потребление чая превышает среднестатистическую норму. Он совершал поездки в кофейные страны – например, во Францию, Италию; ему нравилось, после посещения какого-нибудь музея в Париже, заказать себе Café au lait или, в Цюрихе, – Café crème; он любил венские кофейни и всю ту культурную традицию, которая с ними связана. Традицию обозримости, доступности, прозрачности. В странах кофейных все вещи лежат и показывают себя открыто. В чайных же странах всё разыгрывается под покровом мистики. В кофейных странах ты приобретаешь какие-то вещи и, даже располагая небольшими деньгами, в определенном – пунктирном – смысле наслаждаешься роскошью; в чайных же странах такого добьешься разве что силой воображения. Никогда он не поехал бы по своей воле в Россию – страну, которая вынуждает человека фантазировать, домысливая для себя даже самое житейски-необходимое: например, чашку нормального, из кофейных зерен, кофе. ГДР повезло: она после Поворота превратилась из чайной страны в кофейную.

Он же, Гильберт Сильвестер, видел, что собственная жена принудила его к путешествию в исключительно-чайную страну. Он даже готов был признать эту Японию – с ее изнуряюще обстоятельной, крайне детализированной, ошеломляюще вычурной чайной культурой – наивысшей ступенью развития чайной страны; что ж, тем мучительней это для него, тем больше в этом садизма со стороны Матильды, которая навязала ему такое; но теперь уж он не позволит себя удерживать, он все-таки отправился в путешествие – просто чтобы показать свою независимость, из чистого упрямства.

Он вынул из нагрудного кармана смартфон и посмотрел, нет ли нового сообщения. Потом ему пришло в голову, что смартфон переведен на авиарежим и, значит, никаких сообщений – до приземления – не будет. Тем не менее, он открыл свою почту; тем не менее,

он испытал разочарование, ничего там не обнаружив. Он чувствовал себя неважно. Его подташнивало – от пребывания в воздухе, от чая, выпитого на пустой желудок. Если быть точным, он уже больше тридцати часов ничего не ел. Сигнал сожаления со стороны Матильды был бы в такой ситуации естественен. Обычный вежливый вопрос, минимальная попытка установить контакт... Но от нее не пришло ничего. Может, Матильда сошла с ума? Как это вдруг она забыла об элементарных правилах человеческого общения? Как допустила, чтобы дело дошло до такого: что сейчас он видит себя вынужденным совершить межконтинентальное путешествие, пересечь по воздуху всю Сибирь? Он чувствовал, что зеленый чай тяжестью осел в его желудке и колыхнется там при каждом толчке самолета.

О Японии он мало что знал, она-то как раз не была страной его грез. Во времена самураев эта страна будто бы ссылала неугодных интеллектуалов на отдаленные острова или принуждала их совершить сеппуку – весьма кровавую форму самоубийства. Судя по тому, как обстоят его собственные дела, он выбрал для путешествия подходящее место.

Он включил еще один самурайский фильм, но смотреть не стал. Оставшееся время полета провел в напряженно-сумеречном состоянии. Он больше не воспринимал свое окружение, он «затемнил» других пассажиров, и всё представлялось ему неотчетливым, словно окутанным плотным туманом, – однако этот туман тяготил и его самого, и приходилось упираться изо всех сил, чтобы не оказаться раздавленным. Он напрягал плечи, затылок – как новый Атлас, мало-помалу каменеющий. Заснуть ему не удалось, даже на минуту.

После того как самолет приземлился, Гильберт Сильвестер сразу же посмотрел сообщения, но за истекшее время никто ему не писал. Правда, еще продолжались студенческие каникулы, на ближайшие недели у него не было запланировано никаких встреч, и в университете тоже никто в его присутствии не нуждался. Его лекции должны были начаться лишь в конце октября. До тех пор – только выступление с докладом на конгрессе в Мюнхене. Еще пока он ждал чемодана, он послал туда сообщение с отказом от участия.

Он разменял деньги и в газетном киоске купил себе путеводитель и три книжки японских классиков, в английском переводе. Произведения Басё, «Повесть о Гэндзи», «Записки у изголовья». Относительно японских классиков у него всегда было такое чувство, будто буквально каждый, включая и его самого, знает этих классиков чуть ли не наизусть, но, оказавшись перед полкой с книжками в карманном формате, он вынужден был признаться себе, что за всю жизнь в лучшем случае посмотрел несколько японских фильмов и не может вспомнить даже одного хайку.

Он закинул книги в портфель и на аэроэкспрессе «Нарита» поехал в центр Токио. Выйдя у Главного железнодорожного вокзала, взял такси до своего отеля. Всё оказалось просто. Он, как если бы это само собой разумелось, проехал через пол-мира – никакого противодействия, никаких задержек, никаких проблем. Водитель такси носил белые перчатки и форму с фуражкой и блестящими пуговицами. По-английски он не говорил, но согласно кивнул, когда Гильберт показал ему карточку с адресом. Поездка совершалась в глубокой тишине, Гильберту это нравилось. Все сидения были покрыты белыми, вязанными крючком, накидками, и машина покачивалась, словно гибрид свадебного торта и кареты кукольной принцессы Барби. Гильберт не замечал ни пробок, ни светофоров, ни транспортного потока, ни вообще внешнего мира. Когда они добрались до места, водитель, с многочисленными поклонами, подал ему багаж. Стеклопанель бесшумно скользнула в сторону.

Его комната, белый куб, казалась нарочито пустой. В ней помещались только белая кровать, застеленная белым одеялом, и где-то поодаль от нее – двойка малогабаритных белых кубиков, которые, очевидно, служили мебелью. Всё очень просто, очень современно. Он потоптался посреди комнаты, совершенно не представляя себе, что ему тут делать. Потом улегся на кровать и сразу заснул.

Сновидения, скомпанованные из остатков прошедшего дня. Чайные страны, самураи. Воин-меченосец накануне решающей битвы облачается в шелковое одеяние и идет к мастеру чайной церемонии. Он шагает по полированным камням к чайному домику, который прячется в крохотном садике, за стеной из бамбука, – чтобы через слишком низкую дверь войти, чуть ли не вползти, к мастеру. Чайный мастер не тратит лишних слов, он взбивает чай, до образования пены, протягивает его гостю, и гость имеет возможность – перед, быть может, предстоящей ему, отнюдь не невероятной, смертью – еще раз полюбоваться на цветочный букет, на свиток с драгоценной каллиграфией; имеет возможность затеряться в этом пространстве, в которое проникают изменчивые тени растений и где царит захватывающая дух тишина.

Наутро он, подпоясавшись, отправляется на битву. Он располагает мистическими силами: не только его меч движется как бы сам по себе, без его участия, но он еще и умеет летать, тогда как другие, в лучшем случае, совершают прыжки. Эти способности обеспечили ему славу непобедимого мастера меча, однако другие имеют численное преимущество, и его партия терпит поражение. Глубоко опечаленный, он парит над полем боя, видит все эти неестественно искривленные тела, которые не смог спасти, удаляется от них и поднимается выше, пока не различает вдали сверкающее море. Япония, увиденная сверху: бесчисленные острова, покрытые густыми лесами горы, бархатистая зелень, омываемая восхитительной праздничной синевой; в последний раз пролетает он над жестокой красотой этой земли – а потом, поскольку проиграл битву, вспарывает себе коротким мечом живот, как того требует обычай.

Гильберт Сильвестер, когда самолет уже приближался к цели назначения, видел сверху японские острова, в свете как раз восходившего солнца, и это зрелище на какой-то момент полностью захватило его. Теперь он проснулся в оголенном гостиничном номере, который поначалу даже не узнал. Откуда взялись оба эти кубика высотой до колена, ни к чему не пригодные? Он что же, потерял сознание в фитнес-студии? Или это акция, рекламирующая мороженое, в которую он, к собственному изумлению, каким-то образом затесался? Может, в неведомых глубинах себя самого он недавно прокручивал телевизионные рекламные ролики? Он подошел к окну, которое начиналось прямо от пола, отдернул льдисто-белую занавеску и посмотрел на дыбящиеся перед ним стеклянные фронтоны Токио. Почему вдруг он, ни с того ни с сего, попал в этот город? Чего он здесь ищет? Зеркальные стекла домов напротив посылали ему в глаза световые блики, из-за чего он непрестанно моргал: голубые солнечные очки этажей, все новых и новых, – отваживающие, конечно, холодные. Что ему здесь нужно? Он очутился, внезапно сказал он себе, очень далеко от всего, что когда-либо воспринимал как привычное. Он попал прямиком в непривычайшее, в самое непривычное окружение, какое только можно вообразить, и жутко ему именно потому, что окружение это совсем не кажется жутким, а только – чисто функциональным, чересчур чванливым и чересчур стерильным. Он принял душ, надел свежую рубашку и спустился на лифте на двадцать четыре этажа.

Был ранний вечер, воздух еще оставался теплым, в больших конторских помещениях зажигались первые огни. Гильберт слонялся по улицам, заполненным потоками машин, и толпы возвращающихся с работы японцев увлекали его за собой через гигантские перекрестки. Он бы охотно купил чего-нибудь поесть, но чувствовал себя слишком проницаемым, чтобы принять ясное решение; да, он чувствовал себя прямо-таки прозрачным, но эта прозрачность не имела ничего общего с легкостью, а была выражением бессилия. Его способность занимать какое-то пространство – вытеснять воздух, чтобы своим телом заполнять освободившееся место, – казалось, была странным образом нарушена. Поэтому хождение давалось ему тяжело, и он чувствовал, что только лихорадочная возбужденность прохожих, выплеснувшихся на улицы после закрытия контор, все-таки, шаг за шагом, гонит его вперед, как если бы он, словно вампир, подпитывался энергией, которую

излучают люди вокруг него, – сам же он не ощущал в себе никаких стимулов, не знал, куда хочет пойти, и безвольно допускал, чтобы другие направляли его путь.

Матильда так и не объявилась. В отеле он еще напоследок, прежде чем зайти в лифт, проверил, нет ли новых сообщений. Его отказ от участия в конгрессе был, с изъятиями сожаления, принят к сведению. Но от Матильды – ни слова. Он, значит, должен предположить, что то развитие событий, которое для него самого было скорее неожиданным, жена вполне одобрила и обрела теперь полную свободу для осуществления собственных планов. Она была очень занятой женщиной, и периодически случались такие дни, когда с ней, заваленной всяческими обязательствами, вообще не удавалось поговорить.

Она преподавала – в одной гимназии – музыку и математику и еще занималась повышением квалификации учителей. Она считалась корифеем частной дидактики, гением коммуникации и «чудо-оружием»; ее профессиональная деятельность оплачивалась, если сравнить с его собственным жалованием, очень хорошо и всегда пользовалась повышенным спросом.

Но все равно, даже в случае непредвиденных осложнений, она наверняка могла бы найти свободную минутку, чтобы связаться с ним. Он решил, со своей стороны, оставаться непреклонным и выжидать. После всего, что произошло, именно она – это очевидно – должна сделать первый шаг. Очень вероятно, что она просто не отваживается подступить к нему – теперь, когда он знает о совершенных ею проступках и она может быть уверена в его гневе. Что ж, это ее задача – подвинуть его к тому, чтобы он ей простил. Уже одно то, что она до сих пор не послала сообщения, – неслыханный афронт. Он в любом случае не станет за ней бегать, он не поползет, как кающийся, к кресту, он не собирается заходить так далеко в самоунижении, чтобы прогнуться еще и в этом пункте – и, так сказать, по-христиански подставить другую щеку. Он сожалел, тем не менее, что из-за всего этого она даже не знает, что он, Гильберт Сильвестер, предпринял такое путешествие – оказался один в Токио, так далеко от дома, как он еще никогда не бывал. Кроме нее у него не было никого, кому он мог бы об этом рассказать. И ведь Матильда наверняка тоже восхитилась бы панорамой японских островов, увиденных с большой высоты...

Человеческие массы устремлялись к станциям метро и к автобусным остановкам. Он попал на боковую улочку с маленькими закусочными – в ущелье, по сути, обрамленное тесно примыкающими друг к другу высотными зданиями, но в которое, тем не менее, падали косые лучи вечернего солнца. Он зашел в суши-бар, сел к стойке у окна и стал наблюдать за людьми, спешащими мимо. Коммерсанты, секретарши, школьники, изредка домохозяйки. В общем и целом – безбородые персоны. Гладкие черные волосы, гладкие лица, гладкие привычные улыбки. Правда, мимо продефилировал некий молодой человек – с окладистой бородой и в белых айкидошных штанах, волосы на затылке собраны в самурайский узел; но уже издали было заметно, что этот бородач – европеец. На тему японских бород существует много теорий. Самая скучная – биологическая: дескать, у некоторых азиатских народов отсутствует ген, или как это называется, отвечающий за рост бород; поэтому у них если и вырастает борода, то очень скудная, которая из-за своей скудости не может служить символом высокого статуса, и потому ее предпочитают сбривать. Другая теория утверждает, что здешние безбородые мужчины в расцвете сил – это просто все те, кто живет, выполняя чужие распоряжения, поскольку фирмы требуют от своих служащих, чтобы они имели имидж следящего за собой человека, а борода к такому имиджу никак не относится. Поэтому в Японии никогда не увидишь работающего на полную ставку *salaryman*¹, у которого был бы хотя бы намек на бороду. Третья теория исходит из одержимости чистоплотностью, свойственной всем японцам. Дескать, тот, кто выходит на улицу с бородой, очевидно, просто – вопреки обычаю – в этот день не принимал ванну и вообще не умывался, что в стране

1 Служащий на окладе, «белый воротничок» (англ.).

тотального пуризма воспринимается как кошмар. Однако решающий вопрос, о формах бород и образе Бога, этими теориями даже в отдаленной мере не затрагивается. И если до сих пор Гильберт Сильвестер занимался своими исследованиями, так сказать, европоцентрично, то здесь перед ним открылось совершенно новое поле деятельности. Это могло бы, уговаривал он себя, даже придать его путешествию какой-то смысл. Прежде он долго анализировал изображение Бога у Микеланджело, в Сикстинской капелле. Бог, которого несет облако, сплошь состоящее из пухлых ангелочков, и который, расположившись на нем, небрежным жестом протягивает руку Адаму, чтобы точечным, электризирующим прикосновением совершенно расслабленного пальца даровать тому дыхание жизни, – этот Бог носит окладистую бороду. Поскольку Микеланджело, как известно, любил мужчин, культурное влияние Сикстинской капеллы на гомосексуальное сообщество представляло для изысканий Гильберта отнюдь не малосущественный интерес. Вопреки стереотипным упрекам в нарциссизме, которые обремененная предрассудками общественность мысленно предъявляла гомосексуалисту, такой человек идентифицировали себя отнюдь не с Богом, а скорее с молодым и физически развитым, но чрезвычайно пассивным Адамом. Этот Адам, изображенный, по образцу греческих статуй атлетов, с полностью безволосым телом, в современную эпоху, как пытался доказать Гильберт, немало способствовал распространению такого явления моды, как сбривание волос по всему телу. Бог же, напротив, был тем, кто нарушает описанное Фрейдом табу на прикосновение, был эротизирующей силой, чем-то совершенно другим, великим Другим – чему нисколько не противоречит тот факт, что живописец, в лучшей ренессансной манере, изобразил Его по своему подобию, особенно постаравшись передать форму бороды. Конечно, сравнивать бороду Бога-Отца европейской традиции с какой-то из японских моделей бесполезно.

Японцы с гладко выбритыми щеками потоком двигались за окном, и Гильберт вдруг почувствовал себя утешенным. Разве у него нет сверхзадачи? Особой причины, чтобы находиться здесь? Он ел свое суши, хотя не любил сырую рыбу, и уж тем более – водоросли. Но ему нравился используемый в этом блюде клейкий рис, и его успокаивало, что состав суши более или менее обозрим. Его первая трапеза в Японии: ему не хотелось пускаться на рискованные эксперименты и вычерпывать ложкой содержимое какого-нибудь глиняного горшочка с неведомыми ингредиентами, образующими непроглядный суп. Он ел – без рыбной начинки – рис, скатанный в удобные для поглощения роллы, ел рис, обмотанный водорослями, потом заказал себе немного саке и съел кусочек лосося. Только теперь он заметил, как сильно проголодался. Он съел в конце концов всё, оставив нетронутым только щупальце каракатицы, величиной с большой палец.

Он проходил под многоуровневыми транспортными развязками, удивлялся яркой световой рекламе и безукоризненной чистоте улиц. Но одновременно следил за тем, чтобы не слишком удаляться от отеля. Он вообще-то хорошо ориентировался и знал, что так просто не заблудится, но именно этот город не внушал ему доверия. Прохожие прямо-таки лучились перфекционизмом, полнейшим самообладанием, антисептикой. Нигде не было этих грязных закоулков, в которых могут скапливаться сомнительные чувства; помоек с бездумно сваленным в кучу мусором, где, соответственно, встречаются и не следящие за собой люди; мест с неприятной атмосферой, которые хочется обойти стороной. Здесь Гильберт двигался среди человеческих масс, однако никто не приближался к нему вплотную. Дома пешеходы на улицах размахивали руками, выпускали свое недовольство на других, и даже если они ничего не говорили, ты чувствовал, как чужие настроения накладываются на твое собственное, словно твой путь через город с самого начала был загрязнен. Здесь же, напротив, люди казались сделанными из пластика. Гильберта это несколько смущало. Он уходил все дальше, пытаясь соответствовать ритму шагов других людей, но примечал направление, в котором движется. В конце концов он узнал здание того вокзала, на который утром приехал. Небарочное, из красного кирпича, с куполами. Он толком не знал, зачем оказался здесь,

вторично за сегодняшний день. Он хотел вернуться в отель, но вместе с тем его тянуло куда-то прочь. Была ли то тоска по дому или тоска по дальним странствиям? Его тянуло прочь, просто – как можно дальше прочь; но он ведь и без того находился, по отношению к дому, на другом конце света, и несколько километров, прибавленных к уже преодоленной дистанции, едва ли принесли бы ему облегчение. Он вошел в здание вокзала, вошел в знакомый зал, который словно шепотом подсказывал, что он здесь может сделать: билетные автоматы, заграждения и контролеры – всё это он видел сегодня утром. Он купил в автомате перронный билет и на эскалаторе поднялся к одному из рельсовых путей.

Между тем уже совсем стемнело. Пассажиры заходили в световой конус и выходили из него, позади же стояла, непроницаемой стеной, ночь. Гильберт какое-то время топтался на платформе, наблюдая за подъезжающими поездами. Японские высокоскоростные поезда сети «Синкансэн» приближались, элегантно скользя. Каждый аэродинамический локомотив спереди имел похожий на пасть выступ, что придавало всему поезду сходство со змеевидным драконом. Серебристые водяные драконы, сверкающие и гладкие... Потом подъехал поезд, у которого были подрисованы мощные чувствительные усики – желто-красные, как пламя. Гильберт охотно записал бы это себе на память, однако кожаный портфель вместе с писчими принадлежностями остался в отеле. Когда подошел следующий поезд, то в свете прожектора удалось рассмотреть: там, где внешняя оболочка локомотива утолщается, образуя верхнюю губу дракона, начинается пурпурная линия, которая тянется дальше по всем вагонам: как вибриссы в обтекающем воздушном потоке – первобытно-древние, бесконечно длинные чувствительные волоски, во время полета плотно прилегающие к телу.

Гильберт, окрыленный, шагнул к поезду, и в то время как рабочие уборочной службы устремились в вагоны, собирали там мусор и чистили сидения, он отважился ласково прикоснуться к пурпурной линии. В конце концов пассажиры заполнили вагоны, поезд тронулся, но Гильберт еще долго смотрел ему вслед. Потом он нашел на платформе безлюдный закуток, прислонился к рекламному щиту и позвонил Матильде.

- Гильберт на проводе, – официально сказал он.
- Где ты?
- Я в Токио.
- Где, прости?
- Я же сказал: в Токио.
- Это очень плохая шутка. С нотками жалости к себе. И с элементами шантажа.
- Никто тут не собирался шутить.
- Зачем ты меня тиранишь? Что я тебе сделала?

Выкинув такой фортель, она вдруг заплакала. Она! выкинула фортель: посредством всего нескольких слов переместилась из роли виновницы в роль жертвы. Он слышал по телефону, как она всхлипывает, и ему даже казалось, будто он слышит, как слезы каплют на какую-то твердую поверхность; он опять ненавидел эту иррациональную женскую стратегию: вести какой-то разговор и одновременно его не вести – или, во всяком случае, внезапно направить в совершенно другое русло, чем, по логике вещей, можно было бы ждать.

- Ты даже ни разу не попробовала позвонить мне, – холодно сказал он.
- Я целый день непрерывно звонила. Ты был недоступен.
- Я сидел в самолете, – сказал он еще холоднее.
- Но не десять же часов.
- Как я уже говорил, это был дальний рейс.

Он услышал, как она что-то прошипела – очень может быть, «Почему ты мне непрерывно лжешь, поганец такой»; но он плохо разобрал сказанное и, справедливости ради, не хотел воображать себе упреки, которых не исключено что и не было. Однако прежде чем он успел попросить ее повторить последнюю фразу, она положила трубку.

Он тут же снова позвонил, но жена к телефону не подошла.

С одной стороны, это принесло ему облегчение, потому что разговор – на его вкус – складывался неблагоприятно для него. С другой стороны, он уже начал беспокоиться. Она производила впечатление совершенно сбитого с толку человека. Она не понимала, что происходит. Не поняла даже, что он в Токио. Где же, она думает, он находится? Ведь не ждала же она, что он доберется до Луны? Где ему еще быть, если не там, где он сейчас? Его раздражало, что он не только должен как-то оправдать свое нынешнее физическое местонахождение, но чуть ли не вынужден представить жене убедительные подтверждения такового. Ну да, он стоит где-то на земле, а где именно – не все ли ей равно. Она ведь даже не спросила, каково ему было все это время.

Он снова стал набирать ее номер, их общий номер, который теперь больше не был его номером, ошибся, начал сначала, потом махнул на это рукой.

Он медленно шел по перрону, удаляясь от пассажиров, дошел до края платформы, где никого больше не было. Здесь заканчивалась маркировочная линия, вдоль которой выстраивались люди перед посадкой на поезд, и начиналась решетка, отгораживающая полотно железной дороги от пассажиров. Гильберт встал в тени опорного столба, его это вроде как утешило. Так он ждал некоторое время, прислонившись к столбу: ждал следующего поезда, следующего дня, просто чего-то ждал, всматриваясь в бархатную ночь, отнесенную вокзальными огнями в недостижимую даль.

Поток поездов, перевозящих возвращающихся с работы, схлынул. Какой-то молодой человек со спортивной сумкой через плечо шел по перрону по направлению к Гильберту. Он миновал Гильберта, не обратив на него внимания, замедлил шаг, но, будто его тянули на незримом поводке, все же добрался до самого края платформы и там, перед решеткой, с преувеличенной осторожностью поставил на землю свою спортивную сумку. Он принялся теревить ее, выправляя форму, пытался разгладить складки, что ему никак не удавалось. Гильберт смотрел, как сумка раз за разом оседает, а ее снова пытаются расправить. Точно так же обстояло дело и с ним самим: он прилагает бесконечные усилия, но эти усилия как бы не признаются за таковые.

Молодой человек приплясывал вокруг сумки, и в конце концов ему, похоже, удалось привести ее в состояние хоть и неустойчивое, однако, на данный момент, удовлетворительное. Он отступил на шаг, чтобы оценить свою работу, и только теперь Гильберт осознал, что его в этом человеке сбивало с толку. Человек носил маленькую козлиную бородку – модную, ухоженную. Гильберт Сильвестер решился заговорить с ним.

На поверхностный взгляд ситуация с бородами кажется очень простой. Бог носит окладистую бороду, Сатана – козлиную бородку. Последнее обстоятельство иконографически – можно сказать, без пробелов – прослеживается вплоть до античных изображений козлобородого, с козлиными копытами и козлиным хвостом, Пана; и вплоть до сегодняшнего дня визуальные средства массовой информации, прежде всего игровое кино, всегда обращались к образу козлиной бородки, чтобы охарактеризовать какого-то персонажа как несомненно аморального. А молодежи, едва успевшей выйти из пубертатного возраста, конечно, нравится заигрывать с образом злодея. Нравится придавать себе видимость суровости – в ответ на упрек, что она, дескать, слишком изнеженная. Молодежь, в которой никто больше не нуждается, по сути и не может предпринять ничего другого, кроме как стилизовать себя таким образом, который намекает, что с ней следует считаться.

Молодой человек отвернулся от сумки и вскарабкался на решетку. Однако прежде чем он перекинул через нее ногу, к нему приблизился Гильберт. Молодой человек вздрогнул, соскользнул с решетки на платформу, потом выпрямился во весь свой узкий рост и начал отвешивать многочисленные поклоны, глубокие и исполненные смущения. Гильберт сформулировал самую вежливую, на какую он был способен, английскую фразу,

начинавшуюся с банального выражения, что он, дескать, не хотел мешать. Нет, он вовсе не мешает, пробормотал молодой человек – снизу вверх, поскольку лоб его тем временем приближался к земле, – он не мешает ни в малейшей степени. Что, напротив, мешает и из-за чего он теперь многократно просит прощения, что удержало его в последний момент и пошатнуло принятое им решение – так это особый свет, которым недавно оборудовали вокзалы: голубые светодиодные светильники, будто бы улучшающие настроение, – позитивный, дружественный свет, который теперь специально устанавливают в расчете на людей, подобных ему. Он, тем не менее, верит, что сумеет это преодолеть и все же выполнит свое решение. Он извиняется. Он не справился.

Молодой человек говорил по-английски из рук вон плохо. Гильберт, мучительно растроганный, смотрел на редкую бороденку, которая поднималась и опускалась. «Треугольник вершиной вниз», значится в научных исследованиях: на человеческий мозг он воздействует как сигнал опасности. Эти жалкие волоски пока даже не сложились в отчетливый треугольник. Гильберт почел за лучшее поначалу вообще не касаться темы бород.

Он наблюдал за собеседником и в конце концов, чтобы хоть немного его поддержать, выдал такую тираду: он, дескать, наблюдал, как трогательно молодой человек заботится о своей сумке. Он, должно быть, – человек с высоким сознанием долга. И наверняка всеми силами служит государству и обществу. Он, Гильберт, хочет от имени всех иностранцев выразить благодарность за то, что эта страна, Япония, находится в таком превосходном состоянии: что она – чистая, не имеющая неприятных запахов, доступная для туристов.

Гильберт, раньше, где-то читал, что потенциальных самоубийц следует вовлекать в разговор, чтобы отвлечь от их замысла. Особенно безотказно этот метод, похоже, действует в Японии, где, с точки зрения хороших манер, просто исключено, что молодой человек не ответит на вопросы старшего, даже если он не понимает в этих вопросах ни слова.

Козлиная бородка дрожала, когда молодой человек поднял сумку и вслед за Гильбертом направился к выходу.